

«*Apologia pro vita mea*» Владимира Печерина

Яркая и противоречивая жизнь Владимира Сергеевича Печерина, смысл его убеждений и поступков всегда вызывали неподдельный интерес и самые разные оценки и у его современников, и у многих поколений историков и филологов. С годами «споры о Печерине» нисколько не теряют своей актуальности, а представить себе отстранённо написанную работу о нём просто невозможно. По словам Е.Г. Местергази, «личность Печерина... заставляет каждого, кто соприкасается с ней, обнажить и своё “я”»¹. Именно поэтому обсуждение опубликованной С.Л. Черновым книги воспоминаний и переписки Печерина, которые составляют его литературное наследие и главный источник суждений о нём, (В.С. Печерин. *Apologia pro vita mea*. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим. СПб.: Нестор-История, 2011) сосредоточилось не столько на достоинствах публикации, сколько на том, кем же хотел быть и был сам Печерин. На наш взгляд, это обсуждение, помимо прочего, лучше всяких теоретических выкладок свидетельствует о том, что именно *личность* была и остаётся одной из главных тайн истории.

В дискуссии приняли участие доктора исторических наук Е.А. Вишленкова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), В.С. Парсамов (Российский государственный гуманитарный университет), Ф.А. Петров (Государственный исторический музей), кандидаты исторических наук А.А. Левандовский, В.В. Пономарёва, Л.Б. Хорошилова и Е.Н. Цимбаева (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), кандидат философских наук И.Ф. Щербатова (Институт философии РАН).

Вадим Парсамов, Елена Вишленкова: Путь Владимира Печерина

В русской литературе сформировался своего рода печеринский миф. Бегство В.С. Печерина на заре блистательной научной карьеры на Запад, его хлёсткие фразы о России как «зачумлённом городе» и о сладостном чувстве ненависти к Отчизне будоражили воображение и ум современников и более поздних соотечественников. Его «Замогильные записки», изданные в 1932 г. ничтожно малым тиражом в издательстве «Academia», были библиографической редкостью. Кроме этого издания в России читали блестяще написанную М.О. Гершензоном «Жизнь В.С. Печерина» (М., 1910). Обе книги в советское время были доступны весьма ограниченному кругу читателей. Его мифологизировали как первого русского политического эмигранта. Отголоски такого представления можно найти в недавно изданной книге Н.М. Первухиной-Камышниковой «В.С. Печерин – эмигрант на все времена» (М., 2006). Ситуация мало изменилась и с переизданием «Замогильных записок», которое осуществил С.Л. Чернов в 1989 г.² То издание прошло почти незамеченным в бурном потоке переводов, книг и переизданий перестроечной поры.

¹ Местергази Е.Г. Теоретические аспекты изучения биографии писателя (В.С. Печерин). М., 2007. С. 8.

² См.: Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989.

И вот сделан новый шаг в осмыслении пути русского католика и учёного. С.Л. Чернов выпустил если не полное, то весьма репрезентативное собрание его сочинений. Книга состоит из нескольких частей: вступительная статья, переписка за 1851–1877 гг., комментарии к ней и приложения, содержащие биографические материалы о Печерине. Благодаря данному изданию, личность этого исторического деятеля, а также культурный феномен, им порождённый, предстают в их истинном масштабе. Книга проясняет многие загадки прошлого и одновременно рождает массу вопросов. Становится понятно, почему Печерин производил и продолжает производить впечатление таинственной личности, почему его жизнь и литературные произведения известны в России «лишь узкому кругу специалистов» (с. 5).

В истории русской культуры много подобных «забытых» или «неизвестных» имён. Встаёт вопрос: кем они забыты и почему безвестны? И нередко оказывается, что для этих людей просто не нашлось «рядов», в которые их можно было бы вставить. Так, например, когда в 1990-е гг. началась планомерная разработка истории русского либерализма и консерватизма, «неизвестные» имена посыпались как из рождественского мешка. Всем им нашлось место в этих историях, появились издания их сочинений, о них были написаны книги и статьи. Сразу «вспомнились», с одной стороны, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Ю.Ф. Самарин и многие другие, а с другой – А.С. Шишков, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев. Но ни в одном из этих рядов для Печерина места не оказалось. С помощью надёрганных цитат его, может быть, и можно было бы записать в либералы, но тогда выровнялся бы весь извилистый и напряжённый путь его нравственных исканий, стёрся бы их смысл.

Жизнеописание Печерина, безусловно, украсило бы историю русской эмиграции, но эта история до сих пор не написана. А без такого нарратива эмигрантство Печерина не может быть понято во всем его своеобразии. То же самое можно сказать и об истории русского католицизма, которая всё ещё ждёт своего исследователя. Возможно, тогда духовные поиски Печерина получат новое освещение – в контексте исканий его русских предшественников и современников, сменивших веру. Но в любом случае благодаря рецензируемой книге будущие исследователи эмиграции и католицизма получили ценное пособие для анализа взглядов Печерина.

Одним из основных достоинств книги является то, что издатель не ограничился публикацией писем самого Печерина, но сопроводил их письмами его корреспондентов. В результате читатель имеет полную картину того, что и как обсуждалось в этой переписке, а главное, впервые может представить обстоятельства, при которых были написаны «Замогильные записки. *Apoligia pro vita mea*». Университетский приятель Печерина и его многолетний корреспондент Фёдор Васильевич Чижов, искусствовед, мыслитель, предприниматель, строитель железных дорог, личность во всех отношениях примечательная, с твердыми взглядами и резкими суждениями, буквально принуждал Печерина писать воспоминания. Особенно Чижова интересовала история перехода в католицизм. И, судя по всему, это совпало с желанием Печерина «оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской. Хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Печерина» (с. 481).

Таким образом его мемуары обрели фрагментарно-эпистолярный характер. Вместе с тем решение публиковать их кусками внутри писем может быть оправдано лишь отчасти. Нарочитая сегментация мемуаров представляется

художественным приёмом (возможно произвольным подражанием Стерну³), который привлекателен для массового читателя. Специалисты же получили представление о процессе написания мемуаров, но лишились возможности прочитать их как единый связный рассказ. На наш взгляд, имело бы смысл воспроизвести «Замогильные записки» целиком в приложении. Двойной взгляд на текст позволил бы лучше оценить не только его автобиографические, но и литературные достоинства.

Публикуемая впервые переписка с Чижовым проливает новый свет как на творчество Печерина, так и на его личность. Издание позволяет составить представление о нём и на основании его собственных суждений, и по высказываниям о нём со стороны. Характеристика личности Печерина дана во вступительной статье Чернова. Отмечая изгибы и противоречия жизненного пути своего героя, в качестве доминирующей черты исследователь выделил «тотальное отрицание»: «Всё дело лишь в том, что негативизм (нигилизм?) В.С. Печерина не содержал в себе позитивного значения, положительного, творческого импульса для последующего развития». Автор предисловия противопоставил русскому католику целый ряд современных ему мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.И. Тургенев, А.С. Хомяков, Б.Н. Чичерин и др.), также отрицавших российскую действительность, но, в конечном счёте, создавших «пусть утопические, но программы преобразования страны». Из этого сравнения Чернов сделал безапелляционный вывод: «Выбор Печерина оказался совершенно иным. Его отрицание стало формой бегства от реальной действительности, от обстоятельств и проблем жизни, от необходимости искать и находить решения назревших вопросов (в первую очередь мировоззренческих), наконец, от ответственности за им же принятые решения. Подобный стереотип поведения вполне можно квалифицировать как “страх жизни”» (с. 11–12). Вряд ли с такой трактовкой личности Печерина можно сегодня согласиться. Во всяком случае, опубликованные материалы позволяют построить более сложную и гибкую историческую концепцию.

Печерин не просто бежал и не только отрицал всякую действительность. При всех бурных перипетиях его судьбы две позитивные идеи никогда не покидали его. Это идея труда («краеугольный камень современного государственного строя есть труд, труд, труд, самостоятельный неусыпный личный труд!», с. 121) и идея пути («мне невозможно остановиться; я непременно должен идти вперёд», с. 67). Их переплетение давало Печерину ощущение внутренней свободы и внешней независимости, а то и другое порождало в нём высокое чувство собственного достоинства. В конце жизни он имел полное право сказать о себе: «Я сохранил достоинство человека и независимость духа» (с. 113).

Всю жизнь Печерин трудился. Он делал всё, что от него требовал долг: «Потому что выше всех философий и религий у меня стоит священное чувство долга... Человек должен свято исполнять обязанности, налагаемые на него тем обществом, в коем судьба привела ему жить, где бы то ни было, в Китае, Японии, Индостане, всё равно!» (с. 336). За этими словами стояли реальные дела и «духовное трудничество». Всего полгода он был экстраординарным профессором классической филологии в Москве, но память о нём как о замечательном преподавателе долго сохранялась в университете. Его проповеди как католического священника заставляли паству проливать слёзы. В «глубоком молчании» он работал на полях с траппистами, которые восхищались Печериным. Он знал

³ См.: Мильчина В.А. Печерин // Русские писатели. 1800–1917. Т. 4. М., 1999. С. 594.

европейские древние и новые языки, и уже в зрелом возрасте выучил санскрит, арабский и персидский. Его знания, полученные тяжёлым умственным трудом, включали в себя обширный пласт мировой культуры. И всё это делалось в тиши монашеской кельи, вдали от суеты: «Я всегда любил так называемую скрытную жизнь (*vie cachée*). Я хотел бы исследовать все глубины науки, но без шума слов, без битвы прений, без гордости почестей». Он ненавидел «слова, декламации, пылевглазбросание и отличие по службе» (с. 383). Именно от этого он бежал в поэтический мир труда и чистого знания.

Идейные искания Печерина – это не просто голое отрицание предшествующего состояния и замена старого новым. Это всегда восхождение и внутреннее обогащение. Печерин как личность не мог вместиться ни в одну из философских и религиозных доктрин. Как только он постигал ту или иную систему изнутри, он сразу же начинал видеть её недостаточность и вступал в период разрушения веры. Он терял и обретал, затем снова терял, но при этом всегда шёл дальше. В этом он видел большой положительный смысл каждого отрицания: «Все потери и разлуки для нас очень полезны: они поднимают нас из низменной сферы в высшую, более светлую» (с. 426).

Возможно, со стороны Печерин действительно мог производить впечатление «лишнего человека», замкнутого в своём мире без всякой пользы для окружающих. Именно таким видел его ближайший друг Чижев, который со свойственной ему прямолинейностью писал: «Ты теперь восхищаешься ежедневным, ещё ли не ежеминутным приобретением сведений – да на черта они тебе, когда ты как “Скупой рыцарь” Пушкина собираешь их в сундук и прячешь ключ за 12 замков, едва ли не проглатываешь и потом выкапываешь. Ты такой же Гарпагон в знании, как Плюшкин в имуществе: поднимаешь каждую тряпочку, каждый гвоздик, всякий хлам и всё запираешь в сундук. Что же тут хорошего? Ну и накопишь, половина сгниёт, половина останется в твоём сундуке, и что же кому из этого? Черви в земле тоже скушают твою умную голову, как и мою глупую. У меня едва сил достаёт тащить тебя в бессмертье, а ты упираешься, как козёл, – просто брат, как хочешь, а мы истые шуты гороховые» (с. 417).

Чижев – труженик и практик, строящий железные дороги и приносящий пользу соотечественникам и России. Но его практицизм накладывает на его мировидение определённые ограничения. Он не может понять самооценности знания и жизни как таковой. Для него смысл лежит вне жизни отдельно взятого человека. Для Печерина жизнь ценна сама по себе: «Ведь цель жизни – это жизнь. Декарт сказал: *Cogito ergo sum*; а я скажу: я существую, следовательно, я полезен» (с. 177). Такой взгляд на жизнь намного шире. Читая их переписку, замечаешь любопытную вещь: Печерин, профессиональный проповедник, ничего не проповедует и ничему не пытается учить Чижева. Тот же, человек сугубо практический, постоянно читает нотации Печерину и пытается его исправить.

При всём радикальном отрицании каждого из предшествующих этапов своего пути Печерин вовсе не считал свою жизнь в целом ошибкой. Эти отрицания органично входят в его программу жизнестроительства. Своим девизом он избрал слова папы Григория VII: «Я любил правосудие и ненавидел беззаконие и потому умираю в ссылке» (с. 740). Эти же самые слова взял эпитафией к своим «Записным книжкам» («*Exégèse*») другой русский католик, сосланный в Сибирь, декабрист М.С. Лунин.

Печерин и Лунин никогда не были знакомы. Тем интереснее параллелизм их вхождения в католичество. Их обоих привлёк именно демократизм Католической церкви. «В то время я всё мерил республиканским масштабом, – вспоминал впоследствии Печерин. – Что я оборванный, небритый, нечёсанный, запылённый, грязный, что я в этом нищенском образе мог войти в этот великолепный храм, наполненный изящным людом (*beau monde*), и мог найти место между ними и наравне с ними имел право наслаждаться звуками очаровательной музыки – всё это в глазах моих обличало глубоко демократический характер католической церкви» (с. 202). Лунин же, возражая против распространённого мнения о связи политических свобод и протестантизма, пришёл к выводу, что именно католицизм способствовал распространению конституционных идей: «В Англии конституция сложилась много раньше 16-го столетия, в лоне католической церкви... И, наконец, католическая Франция стала в наши дни конституционной монархией»⁴. Печерина и Лунина роднит и выделяет на фоне других русских католиков, ориентировавшихся главным образом на Францию, ярко выраженное англофильство. Печерин также не уставал благодарить Провидение, за то, что оно предоставило ему возможность «жить под покровом английской конституции» (с. 57).

Правда, на этом сходство Печерина и Лунина заканчивается, и начинаются серьёзные различия. Оправдание католицизма Лунин видит в истории и прежде всего в истории Средних веков, когда папы «обуздывали страсти и сдерживали непомерные притязания государей; сан общего отца христиан придавал их увещаниям вес, какого не могло иметь никакое иное посредничество; и их легаты не жалели ни странствий, ни тягот ради того, чтобы примирить противоречивые интересы дворов и вложить оливковую ветвь мира между мечами враждующих армий»⁵. На ранних этапах своего прозелитизма Печерин также преклонялся перед папами. Но даже тогда католицизм для него был религией будущего, а не прошлого. В духе любимого героя Шиллера он причислял себя «к числу тех русских, которые живут в будущем»⁶. Под влиянием Ф.Р. де Ламенне он проникся идеей соединения католицизма и социализма. «Вот, – думал я, – вот она, та новая вера, которой суждено обновить нашу дряхлую Европу» (с. 188).

Если раньше католицизм в устах и под пером такого яркого религиозного мыслителя как Жозеф де Местр был направлен против социальных теорий французского Просвещения и стремился предотвратить новые революционные потрясения, то после Июльской революции охранительная роль Католической церкви выглядела анахронизмом. Ламенне, издавший в 1834 г. свои знаменитые «Слова верующего» («*Paroles d'un croyant*»), сделал попытку привить католицизму идею социального равенства. Его выступление вызвало бурный энтузиазм в обществе и породило много последователей, среди которых выделялась Жорж Санд. Сам Печерин признавал решающее влияние её романа «Спиридион» на своё обращение. Однако после того как папа осудил Ламенне, ряд его последователей, в том числе ближайшие сотрудники и соиздатели ежедневника «*L'Avenir*» А. Лакордер и Ш.Ф. де Монталамбер, вынуждены были отречься от него, чтобы остаться в лоне Католической церкви. Они стремились

⁴ Лунин М.С. Письма из Сибири. М., 1987. С. 198.

⁵ Там же. С. 164.

⁶ В трагедии Шиллера «Дон Карлос» маркиз Поза говорит: «Я – гражданин грядущих поколений» (*Шиллер Ф. Собрание сочинений в 8 т. Т. 3. М.; Л., 1955. С. 149.*)

соединить идеалы либерального католицизма с ультрамонтанскими идеями Жозефа де Местра. Новым центром притяжения для них стал парижский салон С.П. Свечиной. В 1844 г. Печерин посетил этот салон, о чём спустя много лет вспоминал с иронией.

В прошлом Свечина входила в число ближайших друзей де Местра. В глазах нового поколения французских католиков (Лакордера, Монталамбера, А. Фаллу) это бросало на неё некий отблеск былого могущества великого мыслителя. Однако утверждение Печерина, что «этот-то самый граф де Местр обратил нашу Свечину, столь же известную в Париже и почти причисленную к лику святых» (с. 284) нуждается в ином комментарии, чем тот, что предлагает Чернов («Софья Петровна Свечина (1782–1859) – русская аристократка, писательница. В 1817 г. переехала в Париж, где перешла в католичество и окружила себя иезуитами и ультрамонтанами. Её салон в Париже являлся центром радикальной и иезуитской пропаганды», с. 654). Здесь неточно почти всё, начиная от года смерти (Свечина скончалась в 1857 г.) до характеристики её парижского салона. Но прежде нужно поправить самого Печерина. Свечина перешла в католичество не под влиянием де Местра, а сознательно избегая этого влияния. Главную роль здесь сыграло глубокое изучение истории католицизма по многотомному изданию Клода Флэри «Церковная история». Кстати, это сочинение было осуждено римским папой, и сам де Местр не одобрял увлечения Свечиной этой книгой.

Теперь вернёмся к комментарию Чернова. Свечина уехала в Париж не в 1817, а в 1816 г. В 1817 г. она, наоборот, вернулась в Россию и покинула её уже окончательно в 1818 г. В католичество же она перешла в 1815 г., будучи в России, а не во Франции. Парижский салон Свечиной посещали далеко не только иезуиты, хотя и они там были желанными гостями. Это был очаг высокой духовной культуры, объединявший католиков различных оттенков. Если же говорить о его ядре, состоявшим из наиболее близких Свечиной людей (Монталамбера, Лакордера, Фаллу), то все они были представителями либерального католицизма. Лишь по недоразумению можно записать Монталамбера в консерваторы, как это делает Чернов (с. 673–674). Религиозная свобода для него была неразрывно связана с политическими свободами. Он выступал за отделение Церкви от государства, требовал свободы слова, печати, собраний и т.д. (хотя при этом в духе ультрамонтанства защищал неограниченную власть папы).

Не зная этого, нельзя правильно понять направление критики Печерина: «Господствовавшие в то время идеи Монталамбера разливали какой-то волшебный свет на католическую церковь, представляя её защитницею прав и свободы народов (чего я до сих пор Монталамберу простить не могу)» (с. 350). Католический либерализм вызывал у Печерина едва ли не большее отвращение, чем откровенная реакционность идей де Местра («он наглый и бессовестный фанатик», с. 284). Попытки набросить на католичество флёр свободы казались Печерину обманом, способным вводить в заблуждение верующих. И себя самого он считал жертвой такого обмана. Разочаровавшись одновременно и в католичестве, и в социализме, Печерин, с одной стороны, услышал «предсмертный бред католицизма» (с. 339), а с другой – увидел в социалистах бездельников. Для них «труд есть просто тиранство, которому свободный человек никак не должен быть подвергаем» (с. 172).

На последнем этапе своей интеллектуальной эволюции, обогащённый знаниями, почерпнутыми почти из всех областей мировой культуры, Пече-

рин занялся естественными науками, сбором и изучением растений. Он как бы вернулся к идеям Ж.-Ж. Руссо, на которых воспитывался в юности. Спор между природой и цивилизацией был им решён в пользу природы. Масштабы дискуссии не позволяют затронуть всех проблем, которые всплывают по мере чтения текстов Печерина. Остаётся надеяться, что обсуждаемое издание станет хорошим стимулом для дальнейшего изучения личности и идей этого великого человека.

Андрей Левандовский: Наследство доктора Фуссгангера

Если, перефразируя известную сентенцию, признать, что книга начинается с обложки, то у этой книги начало незаурядное: не припомню другого научного издания, которое вызывало бы такой интерес при первом же брошенном на него взгляде. Обычно ведь максимум, чего заслуживает оформление монографии или публикации, так это комплимента: «Солидно сделано». Переплёт прочный, шрифт отчётливый – чего ещё требовать... Здесь же редкий случай: художник, работавший над книгой – Л.Д. Философов – очевидно, вник в суть публикуемых текстов и сумел выразить их значимость и глубокий трагизм визуально, поместив на обложке поразительно красивую и в то же время мрачноватую панораму: бесконечные поля, пересечённые живыми изгородами; вдали излучина мощной реки; ещё дальше – низкие холмы. Нижняя часть обложки – всех возможных оттенков тёмно-зелёного (начинаешь лучше понимать справедливость неофициального названия Ирландии – Зелёный остров); сверху – тяжёлое небо, почти такого же свинцового цвета, как и воды реки, теряющейся вдали. На эту картину, полную мистериальной торжественности, наложен прозрачный контур католического креста над надгробием человека, чьё русское имя начертано латинскими буквами: Vladimir Petcherine; на поперечной перекладине креста надпись «Arologia pro vita mea», которая и является заглавием книги. Всё это вместе взятое, согласитесь, впечатляет и интригует...

Обложка, в общем, вполне адекватна самой книге, столь же интригующей и неординарной. И обусловлены эти качества, на мой взгляд, как уникальной судьбой автора опубликованных текстов, В.С. Печерина, так и некоторыми характерными чертами публикатора – С.Л. Чернова.

Сначала о публикации и публикаторе. Нужно отметить, что та часть предисловия, которая посвящена истории печеринского эпистолярно-мемуарного наследия, написана Черновым деловито и сдержанно, даже суховато – и всё равно читается, как очень хороший детектив. История образования этого грандиозного комплекса источников и попыток современников хотя бы частично его опубликовать увлекательна и запутана (в ней участвовало порядка двух десятков фигурантов) и, как почти всё, связанное с Печериным, трагична: доктор Фуссгангер⁷ так и не увидел своих воспоминаний напечатанными в сколь угодно полном виде. Вся эта история очень ясно показывает, какие проблемы вставали перед публикатором в самом начале работы: для того, чтобы решить, что именно следует публиковать, нужно было освоить огромный по объёму и сложный по составу материал и определить чёткие и ясные критерии отбора.

Эта задача, как мне представляется, была выполнена в высшей степени достойно. Поставив перед собой цель не просто в очередной раз издать «Замо-

⁷ Напомню, что под таким псевдонимом – доктор Фуссгангер, т.е. «путник» – Печерин предполагал опубликовать свои воспоминания.

гильные записки», что уже было сделано публикатором на очень хорошем уровне более двадцати лет назад в сборнике «Русское общество 30-х годов XIX в.», а предоставить читателю всю совокупность текстов, позволяющих составить ясное представление о процессе создания Печериным своих воспоминаний, Чернов вполне обоснованно выделил круг лиц – корреспондентов Печерина, чья переписка была ему необходима, и разумно определил хронологические рамки, которые ограничили интересующий его период этой переписки (с. 34). По его собственным словам, публикация «представляет собой выборочное, но одновременно тематическое собрание писем. В таком виде этот комплекс, не существующий в действительности, поскольку его элементы разбросаны по разным архивам и искусственно соединены в определённом порядке, является результатом творческой деятельности составителя. Вместе с тем он содержит вполне достоверную в количественном и качественном отношении сумму сведений для достижения главных целей настоящего издания» (с. 34–35). Мне кажется, с автором нельзя не согласиться: путём искусственного отбора ему удалось создать нечто весьма цельное и органичное – на редкость обстоятельную, хорошо продуманную публикацию, благодаря которой читатель действительно может свести самое основательное знакомство «с подлинным, настоящим Печериным».

Комментарии у С.Л. Чернова под стать тексту. Его позиция в этом отношении очевидна: никакой неясности, двусмысленности, недоговорённости в издании, им подготовленном, быть не должно. Тот случай, когда для комментатора мелочей нет – всё важно. Поэтому комментарий обильный, иногда может даже показаться – чрезмерно. Но, с одной стороны, он почти всегда по делу: разъясняется именно то, что действительно нуждается в разъяснении; с другой – в нём совершенно отсутствуют банальности, обычные во многих подобных изданиях. В конце концов, узнать о свойствах травки исоп, мельком упомянутой в одном из писем Печерина, гораздо полезнее, чем ознакомиться с сообщением типа: «А.С. Пушкин – великий русский поэт»... К тому же черновские комментарии очень хорошо написаны; видно, что автор это дело любит и работает с удовольствием. Некоторые из них очень милы – не подберу другого слова, хотя понимаю, что в разборе академического издания это звучит почти неприлично. Впрочем, посмотрите сами: относительно тёмного пива «Гиннес», например, или Лоскутной гостиницы Мамонтова в Москве (с. 710–711). В то же время многие комментарии очень серьёзны и значимы в научном плане; так, мне кажется, по ним вполне можно составить верное представление о целом ряде проблем, существовавших тогда в Римско-католической церкви.

В целом, издание производит самое сильное впечатление. Очевидно, что это плод многолетних трудов, результат глубокого и искреннего увлечения избранной темой. Издание подчёркнуто *неюбилейное* и не актуальное, принципиально отличное от скороспелок, которым благодаря не скудеющей руке фондообразователей ныне несть числа. Рука эта, однако, как известно, подаёт не всякому... Характерно, что Чернов в своей вступительной статье, в неизбежном разделе «Поклоны и благодарности» не упоминает никого, кроме переводчиков иностранных текстов: благодарить ему некого, помощи ему никто не оказывал и никому он ничем не обязан. Сам подготовил, сам издал... С учётом характера издания, его трудоёмкости, от всего этого веет какой-то героической архаикой... В общем, это научная работа мастера, который потратил на неё значительную часть жизни. Явление, согласитесь, нечастое, по нынешним вре-

менам – сродни подвигу. Непосредственно к публикации я могу сделать лишь одно, чисто техническое замечание: книга у Чернова получилась просторная, а вот оглавление тесное: кроме указания на комментарии и библиографию в нём, собственно, есть лишь названия двух разделов: «Тексты» и «Приложения». Между тем, если бы оглавление было развёрнуто, с книгой работалось бы гораздо легче.

Воздав должное Чернову-публикатору, я не могу не воспользоваться случаем и не продолжить спор с Черновым-учёным, начавшийся ещё несколько лет назад при обсуждении рукописи этой книги на кафедре истории России XIX – начала XX в. Московского государственного университета. Меня уже тогда поразило, насколько Сергей Леонидович, человек, вообще-то предельно толерантный по отношению и к людям, и к фактам, учёный-академист до мозга костей, – беспощаден к своему герою. Совершенно несправедливо, на мой взгляд; и даже как-то не по-академически. Перечитывая авторское предисловие сейчас, уже в опубликованном варианте, я лишь подкрепил своё прежнее впечатление.

Обращу внимание читателя на основные соображения Чернова по поводу личности и судьбы героя его публикации. По его мнению, изучение переписки Печерина в корне разрушает «прежнее, идущее от А.И. Герцена и М.О. Гершензона восприятие его как героического бунтаря, желавшего переделать мир и осчастливить человечество, посвятившего себя этой цели и погибшего в неравной борьбе». На смену этой героике «приходит понимание того, что он не героико-романтический, а трагический персонаж русской истории, несостоявшийся, потерявшийся и потому мятущийся человек, так и не сумевший найти себя, своё призвание, свою дорогу в жизни, свой дом, свою судьбу, свою фортуны. Не он стал творцом своей судьбы, а некая безликая сила вела его от одной катастрофы к другой». И ниже: «В процессе чтения писем пришло, наконец, понимание того, что образ Печерина, созданный учёными и публицистами..., не соответствует реальному прототипу, что ему без достаточных оснований приписаны те черты и качества, какими он не обладал, придано то значение, которого не занимал, иначе, он представлен тем, кем, в сущности, никогда не был». И далее, приводя лестные характеристики, которые давали Печерину различные почтенные люди, называя его «большим учёным, замечательным педагогом, мыслителем, философом», С.Л. Чернов уверенно заявляет, что всё это не так: «Он не был ни тем, ни другим, ни третьим, т.е. *никем*» (с. 31, выделено автором). Вот так.

Согласитесь, жёстко. Причём очевидно, что написано это искренне, от души и выношено автором в процессе долгой, кропотливой работы над письмами Печерина. Тем более удивительно... Чтобы это удивление было оправданным, предельно коротко напомним канву жизни героя публикации. С блеском окончив в 1831 г. филологическое отделение философского факультета Петербургского университета, Печерин в 1833 г. был отправлен в Берлин для завершения образования и подготовки к профессорской деятельности. В 1835 г. он занял должность профессора по кафедре греческой словесности и древности Московского университета. В 1836 г. Печерин бежал из России, пытался наладить контакт с европейскими радикалами самых разных направлений. В 1840 г. принял католичество, а в 1841 г. – стал монахом-редемптористом, членом ордена с предельно строгим уставом. В 1861 г. Печерин вышел из ордена и вскоре был утверждён капелланом при одной из самых больших больниц города Дублина,

в каком качестве и провёл последние 23 года жизни. И вот, человек с такой судьбой – *никто*?!..

Во всём этом надо разбираться, но, конечно же, в небольшом по объёму предисловии Чернов мог заявить лишь своего рода «декларацию образа». Да и мне в статье рецензионного характера печеринские проблемы не только не решить – даже толком не обозначить. Отмечу лишь то немногое, что в черновской характеристике образа Печерина представляется наиболее уязвимым.

Прежде всего, это противопоставление своего восприятия Печерина некоему героико-романтическому образу, восходящему, по словам автора, к Герцену и Гершензону. Мне, откровенно говоря, чудится в этом противопоставлении некое подсознательное, наверное, лукавство: уж больно вся эта героика удобна для опровержения. Здесь, конечно, нужны были бы более конкретные ссылки на этих авторов. Я, например, никак не могу припомнить, где это Герцен и Гершензон изображали Печерина как «героического бунтаря, желавшего переделать мир и осчастливить человечество, сознательно посвятившего себя этой цели и погибшего в неравной борьбе». Герцен здесь, по-моему, вообще не причём. В «Былом и думах» он, во всяком случае, просто рассказывает о своих контактах с Печериным в пору пребывания последнего католическим монахом, деликатно избегая при этом сколько-нибудь развёрнутых характеристик. Видно, что Печерин его очень интересует, что он ему небезразличен: ещё бы, изначально свой, плоть от плоти «образованного меньшинства» 1830-х гг., и – такая судьба! Естественно, что в глазах Герцена это была личностная катастрофа; столь же естественно, что в духе своих убеждений он винил в ней николаевский режим. Ни о какой героике там речи не было и быть не могло.

Другое дело – Гершензон, первым написавший о Печерине книгу, на мой взгляд, замечательную, не устаревшую до сих пор, как не устарели и многие другие произведения этого учёного и мыслителя. И вот его-то концепция образа Печерина действительно противостоит концепции Чернова – но совсем не в том удобном для публикатора ракурсе, который заявлен в его предисловии. Приведу две цитаты, которые, по-моему, снимают все вопросы по этому поводу. Первая из предисловия Чернова. Печерин, пишет публикатор, «не предложил ни одной оригинальной идеи, ни одной интересной мысли, не защитил диссертации, не получил профессорства. Одарённый от природы, он мог бы стать крупным лингвистом, создать нужные для того времени филологические труды, стать публичным и любимым студентами лектором, как многие из его сверстников..., но не захотел, вернее, не смог, потому что, не обладая силой воли и характера, не будучи человеком действия, поступка, не был готов к кропотливой, изнурительной повседневной работе» (с. 31–32). А вот Гершензон – самый первый абзац его книги «Жизнь Печерина»: «Людская слава венчает тех, кто много сделал – создал или разрушил царство, построил или, по крайней мере, сжёг какой-нибудь великолепный храм. Но есть другое величие, не менее достойное славы: когда человек, хотя и ничего не сделал, но зато много и глубоко жил. Одним из таких редких людей был Владимир Сергеевич Печерин»⁸.

Вот на *этом* поле Сергею Леонидовичу и подискутировать бы с Михаилом Осиповичем: при полном совпадении точек зрения на то, что Печерин «ничего не создал» – не только храм не построил, но даже «нужную» диссертацию не написал; и при полном расхождении в оценке этого человека – от черновского «никто», до гершензоновского признания за ним некоего «величия»! Мне по-

⁸ Гершензон М.О. Избранное. Т. 2. М.; Иерусалим, 2000. С. 371.

зиция Гершензона представляется не только более справедливой, но и более оправданной в отношении интересующей нас эпохи 1830-х гг., когда Печерин, собственно, и состоялся как личность. Именно в это время морально-этические принципы, линия поведения, образ жизни и тому подобное играли несравненно большую роль, чем, скажем, нынче – к огромному сожалению. На мой взгляд, именно в этой сфере нарождающаяся западническая интеллигенция, к которой, конечно же, духовно принадлежал Печерин, противостояла николаевскому режиму.

Избегая скрытых цитат, сошлюсь на самого себя открыто: «В эту очень своеобразную эпоху правительство тревожили не только и даже не столько какие-то конкретные “лжеучения”; идущие из Европы, как это было впоследствии – коммунизм, анархизм или ещё что-нибудь в этом роде. Было очевидно, что с любыми откровенно антиправительственными настроениями... сильная и очень решительно настроенная государственная власть во главе с Николаем I справится быстро и без особых проблем. Её представителей в это время всё больше тревожит нечто менее определённое и потому трудноуловимое; то, что, употребляя современную терминологию, можно было бы назвать проявлением черт западноевропейской ментальности в русском образованном обществе. С позиций официальной идеологии, очень серьёзная, пусть и скрытая угроза устоям выражалась, например, в приоритете, отдаваемом разуму перед верой; или в отрицании авторитетов в любых сферах бытия; или в критическом отношении к действительности, постоянном подчёркивании чувства собственного достоинства и тому подобное»⁹.

В контексте этой статьи стоит особо выделить именно последнюю из перечисленных черт новой ментальности – «чувство собственного достоинства». «Я бежал, не оглядываясь, чтобы сохранить чувство человеческого достоинства», – так описывал Печерин главную причину своей эмиграции. Именно в 1830-х гг., буквально на глазах происходит формирование новой общности, пока ещё только духовной, и Печерин, на мой взгляд, один из главных её героев. Слово «герой» здесь вполне уместно. И судьба его, при всей своей исключительности – очень жёсткий, но всё-таки один из возможных вариантов интеллигентской реакции на деспотизм.

Впрочем, Чернов в праве называться «одним из первых интеллигентов» Печерину отказывает (с. 31). Он ему отказывает буквально во всём, в любых сколько-нибудь привлекательных чертах личности. Ну, посудите сами: силы воли и характера у Печерина, оказывается, не было – это у человека, который отказался от обеспеченного положения и любимой работы и бежал в неведомое, обрекая себя на тяжкие испытания, духовные и материальные; «человеком действия и поступка» Печерин, опять-таки, не был – это при его-то переходах, вполне сознательных, из состояния российского верноподданного в европейский андеграунд, а оттуда – в католические монахи; в способности к «кропотливой, изнурительной, повседневной работе» ему тоже отказано – человеку, двадцать лет по своей воле бывшему монахом одного из самых строгих орденов (устав редемптористов, который приводит в своей книге Гершензон, просто читать страшно), а затем ещё двадцать лет без всякого отдыха духовно окормлявшему пациентов самой большой дублинской больницы... Поистине: «Мы смотрим в Библию весь день: // Я вижу свет, ты видишь тень».

⁹ Левандовский А.А. Прощание с Россией. СПб., 2011. С. 135.

Мне представляется, что, несмотря на все извивы своего удивительного жизненного пути, на все испытания, которые пришлось ему преодолеть, Печерин сумел совершить самое главное, что удаётся немногим – развить в себе достойное личностное начало и сохранить его до самой кончины. Право же, это куда важнее любой диссертации... Наверное, С.Л. Чернов прав, когда пишет об отсутствии в печеринской переписке ярких мыслей – мыслей у нас вообще гораздо меньше, чем диссертаций. Но ведь переписка эта поражает другим: душевным здоровьем этого уже пожилого и так много пережившего человека, его светлым взглядом на мир, поразительной широтой интересов (что, кстати, признаёт и публикатор, с. 22). Казалось бы, этому человеку есть на что жаловаться – а он не жалуется; в том, что с ним произошло, винит только себя. И, вы знаете, мне кажется, что этот удивительный человек никогда никому не причинил зла...

Нам в наследство Печерин оставил свою удивительную личную историю, которая, как справедливо отмечает автор публикации, запечатлена прежде всего в его письмах. Я думаю, сама полярность оценок личности и судьбы этого человека – свидетельство того, насколько он интересен. Я уверен, что он всегда будет привлекать и учёных, и читателей – пусть и узкий круг, но в очень длительной временной перспективе. Тем более что сейчас у нас в руках такое замечательное, образцовое в своём роде издание связанных с ним материалов.

Ирина Щербатова: Апология «Апологии»

С.Л. Чернов проделал многотрудную работу, в результате которой появилось фундаментальное издание, содержащее интереснейшую информацию как о жизни самого В.С. Печерина, так и об общественной ситуации в России. В нём представлены мемуарные записки Печерина в наиболее полном и выверенном варианте, его уникальная по сохранности переписка с родными и близкими, большая часть которой публикуется впервые. В этом смысле мечта Печерина сбылась – он вернулся на родину *словом*.

В феномене Печерина есть одна трудно формализуемая особенность, определяющая типом его личности. Он был человеком, живущим чувством истины, для которого внутренняя гармония и свобода были намного важнее внешних условий существования. Именно внутренние ощущения, артикулировать которые он часто и не считал нужным, во многом определяли мотивацию его поступков. В итоге Печерину оказывались глубоко чужды те роли, которые ему навязывались.

В этом контексте религиозные взгляды Печерина – безусловно, центральная тема при изучении его жизни, причём тема, рождающая множество вопросов. Говоря о причинах обращения Печерина в католичество, не обойтись без психологии. Сам он в 1871 г. назвал своё принятие католичества «странным психо- и физиологическим явлением», совершённым человеком, который «живёт воображением за счёт здравого смысла» (с. 264–265), в «состоянии, когда душа жаждет забыть, отвергнуть самое себя» (с. 316). Но, основываясь на оценках, озвученных Печериным в 1870-е гг., нельзя сказать, что «католицизм не затронул его чувств и сердца», как это делает С.Л. Чернов (с. 14), – ещё как затронул! Войдя в келью, вспоминал Печерин, «я почувствовал себя как будто в свойственной мне атмосфере. Отрешение от излишеств, от ненужных вещей, от ложных благ – вот истинная свобода!» (с. 329). Это ощущение оставалось с

ним долгие годы, потому что *тогда* оно совпало с его внутренними потребностями. Посетивший его друг юности Ф.В. Чижов нашёл его «страстным монахом» (с. 220). Ремарок подобного рода в опубликованных в книге текстах гораздо меньше, чем ярких обличений католичества, тем не менее внимательное чтение Печерина убеждает в том, что в течение двадцати лет, которые он провел в конгрегации редемптористов, он был преданнейшим адептом католичества. Иначе человек, который просто не мог жить не в ладу с самим собой, не смог бы прожить в конгрегации и дня. Чижов ярко и точно сформулировал ответ на вопрос о причине обращения Печерина, когда утверждал, что тот нашёл в католичестве «новую форму независимости духа» (с. 278).

Для Чернова же очевидна «нерелигиозность» Печерина (с. 14). Действительно, казалось бы, есть основания говорить так, основываясь на беспощадных разоблачениях папства, монашества и вообще католицизма, которые тот делал, не жалея себя, в 1870-е гг. Но, во-первых, как уже говорилось, нельзя судить о религиозных взглядах и самоощущении Печерина 1840–1850-х гг. по его оценкам 1870-х, а во-вторых, он и в 1870-е гг. по-прежнему говорил о себе как о *мистике*. Личный мистицизм же допускает неприятие и даже критику *внешней* церкви. К тому же всего, что касалось сокровенного, Печерин практически никогда не раскрывал. Эту особенность характера своего друга не раз отмечал в письмах Чижов, который был в очередной раз поражён ею при их последней встрече в Дублине.

В целом, вопрос о религиозной позиции Печерина остаётся открытым. Например, есть основания говорить о том, что под влиянием естественно-научных занятий он эволюционировал к деизму. Другая проблема: так ли уж очевидна прямая связь его «мятежа» против католицизма с событиями в России, как считает Чернов (с. 15)? В 1861 г. Печерин собирался не просто остаться священником, но уйти в более строгое монашество. По его собственному признанию, он оставил редемптористов из-за того, что конгрегация «перешла в руки австрийцев, которые всё переменили по-своему: и букву, и дух прежнего устава». Новости же о переменах в России до Печерина дошли в тот момент, когда он ушёл и от картезианцев, увидев, что «эти почтенные пустынные – просто богатые фабриканты», и думал «найти совершенное счастье» у траппистов, воссоздавших «первобытный идеал христианской республики» (с. 80–81). В конце концов, выйдя из церковной организации, он не порвал с христианским служением, а напротив, нашёл в нём свой идеал – независимую жизнь, каждый час которой был распределён между «христианской любовью» и «кумственными занятиями» (с. 81). По признанию самого Печерина, это было лучшее время его жизни, когда в условиях полной независимости он мог самосовершенствоваться и одновременно нести утешение людям. Катализатором же интереса к России, на мой взгляд, в большей степени стала переписка Печерина с Чижовым, фигурой мощной и талантливой, олицетворявшей собой идеал бескорыстного служения России.

Парадоксы Печерина вернее разгадывать на стыке дисциплин. Так, ощущение им независимости в условиях «адской зависимости» (выражение Чижова, с. 417) тоже может стать темой для размышлений. Интересно будет рассмотреть монашество Печерина как образец воплощения стоической морали. Можно, интерпретируя его известные слова «проспал двадцать лучших лет моей жизни» (с. 158), попробовать взглянуть на эту проблему как на кризис средних

лет. Наконец, есть основания посмотреть на фигуру Печерина как на человека, чистота и благородство веры которого способствовали созданию его безупречной репутации. Отец Печерин был хорошо известен в католических кругах не потому, что с ним связывал свои политические виды папа, а потому, что ему не было равных в искусстве проповеди, и слава о русском католике-проповеднике разнеслась по всему Альбиону. Наконец, исследования, связанные с изучением религиозных взглядов Печерина, неизбежно должны соотноситься с западной историко-религиозной литературой, где в курсах по истории Католической церкви присутствует и имя русского проповедника как представителя либерального католицизма.

Таким образом, едва ли можно согласиться с С.Л. Черновым, считающим позицию Печерина «откровенно циничной» (с. 32). Здесь впору остановиться на наиболее вопиющих оценках, которые Чернов даёт герою опубликованной им книги. Уже в аннотации уважаемый составитель уверяет читателя, что Печерин был «маленьким заблудившимся человечком». Чернов предъявляет ему множество претензий: «жизнь Печерина представляется затянувшимся спектаклем» (с. 16); «он не был готов к изнурительной работе»; «мысли его были поверхностны и неглубоки»; «ничего геройского, подвижнического в нём нет. Перед нами одинокая, отчаявшаяся, внутренне опустошенная и страдающая личность, не вызывающая к себе, однако, ни малейшей жалости» (с. 32). Что думать читателю при виде следующих строк: «“Врата, ведущие в погибель”, широко открылись перед В.С. Печериным, и он не миновал их» (с. 17)?

Подчас складывается впечатление, что составитель рассматривает личность Печерина, руководствуясь стереотипами и мифами, развеять которые, по его собственному утверждению, и призвана опубликованная им книга. Главный из них – отнесение Печерина к типу «лишних людей». Для Чернова решающим достоинством личности является служение на общественном поприще, а главным недостатком – жизнь «внутренними рефлексиями» (с. 30). Однако Печерина невозможно понять, не обращаясь к его внутренней жизни. Это очень хорошо осознавали все его корреспонденты, только Чижов в зависимости от настроения ставил это Печерину то в заслугу, то в упрёк, а А.В. Никитенко неизменно отдавал должное «великому царству духа» (с. 79). Приобщением Печерина к сонму литературных героев Чернов пытается типологизировать уникальную личность, исходя из стереотипов, присущих советской идеологии. Но эта логика ведёт к нелепым утверждениям, что Печерин, одержимый «страхом жизни», прожил зря и «завершил земной путь с сознанием бессмыслия собственного бытия» (с. 12, 79). Кажется, Чернов сознательно эпатирует читателя, заявляя, что его герой был «ником»: «Он не предложил ни одной оригинальной идеи, ни одной интересной мысли, не защитил диссертации, не получил профессорства» (с. 31). Что за русская привычка, едва нашёлся приличный человек, которому не случилось быть профессором, сразу объявить его ничтожеством!

Поневоле появляется желание написать своего рода «Апологию “Апологии”», поставив в качестве эпиграфа слова Никитенко: «Такая жизнь, как Ваша, такие дарования, сердце и ум, как Ваши, и, наконец, такая судьба стоили бы того, чтобы в них вдуматься» (с. 125). Не один Никитенко, все без исключения корреспонденты Печерина отдавали должное его человеческим качествам. И на то были основания. Вот весьма яркая история, ставшая известной благодаря публикации С.Л. Чернова. 8 января 1857 г. Печерин написал родителям:

«Во всех церквях Ирландии публично молились за меня, усердные молитвы ирландского народа избавили меня от смерти» (с. 48). Дело в том, что, обходя и исповедуя больных, Печерин заразился сыпным тифом и находился при смерти. Уже больным он произнес страстную проповедь для восьми или девяти тысяч прихожан. Всё это вызвало живой и эмоциональный отклик верующих по всей Ирландии. Это к вопросу о «бегстве от реальной действительности», о «циничности позиции» Печерина.

Второй принципиальный вопрос заключается в том, был ли Печерин политическим эмигрантом. Ответ Чернова однозначно отрицательный: «Было бы ошибкой полагать, что он бежал от российской действительности, персонифицированной в личности Николая I... В отличие от других Печерин не был (и не мог быть принципиально по причине отсутствия мировоззрения) ни диссидентом, ни политическим эмигрантом» (с. 12). К вопросу об «отсутствии мировоззрения» я ещё вернусь, здесь же замечу, что вряд ли можно упрекать в этом кого бы то ни было, а тем более – человека, живущего исключительно работой мысли. Проблема же политической обусловленности эмиграции Печерина действительно не проста. Чернову кажется, что тот не был политэмигрантом, я уверена, что был. Я исхожу из признания самого Печерина, неоднократно повторённого им, о том, что он бежал от деспотизма для того, чтобы сохранить своё человеческое достоинство и обрести независимость. Печерин относил себя именно к «политическим беглецам» (с. 179). Да, он не боролся против николаевского режима. Он примкнул к европейским республиканцам-социалистам в не лучший для революционного движения период спада. Он готов был умереть на баррикадах, а ему пришлось просиживать штаны в кофейнях за бесконечными пустыми разговорами. Он увидел неприглядную изнанку нищих и далеко не благородных будней своих идейных кумиров. В Льеже он понял, что жизнь, которую он ведёт, способствует деградации его личности, и резко изменил её, уйдя в монастырь. Всего этого вроде бы достаточно, чтобы отказать Печерину в политической мотивации его действий. Однако для понимания специфики российской ситуации в николаевскую эпоху первостепенное значение имеет вопрос о пределах примирения с деспотизмом без существенных нравственных потерь, разрушающих личность. Позиция Печерина в этом вопросе была совершенно ясной: «Свобода есть единое основание человеческой нравственности – это философская аксиома» (с. 104).

Не могу не привести высказывания корреспондентов Печерина, которые свидетельствуют об осознании ими того, что сохранение достоинства человека в России – это политический вызов режиму. Чижов писал Печерину: «Во всех заблуждениях... ты сохранил себя чистым, честным и никогда не поступил против убеждений той минуты... Сколько уступок делала наша щепетильная совесть? Сколько раз она продавала себя не за тридцать сребреников, а далеко дешевле?... Мы, взрослые под гнётом деспотизма, сделались природными ипокритами, и лицемерие превратилось в неотъемлемую часть нашей природы» (с. 277). Яркий образ николаевского самодержавия принадлежит племяннику Печерина С.Ф. Пояркову. Отдавая должное дяде, тот писал, что он «не изменил служению мысли даже в то время, когда свободно бродил только зверь, а человек ходил пугливо» (с. 68). Понятие человеческого достоинства когда-то легло в основу возрожденческого гуманизма. С этой точки зрения, личность Печерина – это проявление западного менталитета, невероятным усилием воли вернувшегося в родную среду.

С.Л. Чернов упрекает Печерина в том, что тот «лишил себя возможности исповедовать конформизм и консервативную идеологию», но одновременно и к восприятию либеральной идеологии «не был готов по определению» (с. 13). Сам Печерин писал: «Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом со временем попасть в будущую палату депутатов конституционной России» (с. 188). Однако нельзя обманываться свойственным Печерину тоном легкой самоиронии, и надо учесть, что сказанное относилось к началу 1830-х гг., когда конституционная идея напрочь исчезла не только из российского общественного дискурса, но и из лучших голов, а её место постепенно, но верно занимала идея русского социализма, к которой Печерин всегда относился скептически. Стоит также припомнить, что Печерин с отрочества впитал идеал свободы, что его безотчетно тянуло в «более человеческую среду» (с. 108).

Либерализм сложился у него не как политическая позиция, а как система ценностей только в конце 1860-х – начале 1870-х гг., когда его представления о правильном, справедливом и гуманном миропорядке совпали с политическим и общественным устройством Англии: «В одной Англии умеют соединять неограниченную свободу с совершенным порядком», – писал он. «Вот страна разума и свободы! Вот страна, где есть истина в науке и в жизни и правосудие в судах; где все действуют открыто и прямодушно, и где человеку можно жить по-человечески» (с. 116, 316). На страницах обсуждаемой книги можно найти принадлежащее Печерину прямое требование свободы совести: «С развитием науки религия более и более удаляется в глубину внутреннего сознания. Каждому человеку должна быть предоставлена полная воля верить во что ему угодно, а государство должно окончательно отказаться от всякого вмешательства в дела совести» (с. 119). В книге найдётся и признание Печериным права на частную собственность: «Я прошёл через все возможные философские системы и верования, но доселе не могу понять, как свобода и самостоятельное развитие человека могут существовать без собственности» (с. 223). В этом плане более чем странно выглядит мнение Чернова о том, что «западноевропейская концепция личности не стала (да и не станет никогда) основой его идейных убеждений» (с. 13). Мы действительно говорим об одном и том же человеке?

И ещё одно соображение. История Печерина в определённом ракурсе высвечивает картину самосознания русского общества, но всё же он воспринимал Россию как сторонний наблюдатель, для которого она являлась родиной, где не было ни отчего дома, ни воздуха свободы, которым он мог бы дышать. Ментально Печерин и в 1870-е гг. был очень далёк от России. Те реформы, которые происходили на родине, не слишком его вдохновляли: «Всё, что ты рассказал мне о России, – писал Печерин Чижову в 1872 г., – не возбудило у меня особенного желания в неё возвратиться. По-прежнему везде господствует слепой произвол, а будущее очень-очень ненадёжно» (с. 344).

В заключение позволю себе сказать, что присутствие в книге имени покойного профессора А.Ч. Козаржевского для тех, кому посчастливилось слушать его лекции в шестой поточке 1-го Гуманитарного корпуса МГУ, есть особый знак, указывающий на связь времён, точнее, на непрерывную духовную традицию, уникальным представителем которой был Владимир Печерин.

Книга, подготовленная С.Л. Черновым, – плод многолетних научных исследований и архивных разысканий. Размышления Чернова о его герое представляют отнюдь не только историографический интерес. Они сверхактуальны. Скачкообразное, неравномерное развитие России имело результатом парадоксальную ситуацию: много одарённых, сильных, энергичных юношей, получивших образование, становившихся для окружающих образцами, вдохновителями, рупорами новой жизни, не могли жить той жизнью, какой им хотелось бы, не получали желанного места в культурном обществе. Не зря позже Достоевский будет писать о том, что лишь в дворянстве Россия обрела какую-то «законченность форм», красоту и благородство жизни. Эти «красота и благородство» были малодоступны или вовсе недоступны разночинцам, не получившим в наследство от предков ни запаса культуры, ни материальной поддержки. Им приходилось растрачивать силы, губить здоровье, чтобы получить то, чем другие обладали просто по праву рождения. И слишком часто им это не удавалось.

Образ «лишнего человека» для русской культуры традиционен. В первой трети XIX в. «лишний человек» – это одиночка, какие были всегда и будут появляться в человеческом обществе впредь. Но в 1830-е гг. возникает целый слой «лишних» людей, часто вырванных из привычной социальной среды, не имеющих ни опоры в семье, ни материальных средств, увлечённых утопическими мечтами. Немалую роль в появлении этого слоя сыграло распространявшееся образование: окончившие высшие учебные заведения молодые люди в российских условиях порою так и не могли найти себе соответствующее их новому самосознанию место. Бывший крепостной, профессор Петербургского университета А.В. Никитенко писал, что университет всё увеличивает «число несчастных, которые не знали, куда деться со своим развитым умом»¹⁰.

Разрыв между уровнем образования и материальной обеспеченностью приводил к драматическому концу немало судеб. Сколько ожесточения, бессильного гнева и оскорблённого самолюбия копилось в душе молодых людей, которым не удавалось ни найти приложения своим силам, ни как-то устроить свою жизнь. Стремясь к перемене участи, они увлекались мечтой, обольщались сами и обольщали других всей силой данного им Богом таланта, верой в возможность сиюминутных улучшений, быстрых преобразований, очаровывались то одной, то другой панацеей от всяческих социальных бед, воспринимали утопию как ближайшую реальность. Была и другая категория молодых людей. Получившие больше других, имевшие все возможности реализовать свой талант, прожить яркую, интересную, полезную жизнь, они копили обиды, недовольные всем – государством, начальством, окружающей действительностью, судьбой. Что было этому причиной? Слишком быстро и поверхностно усвоенные знания, утопическое сознание, индивидуальные особенности мышления, завышенная самооценка?

Владимир Сергеевич Печерин блестяще окончил филологическое отделение Петербургского университета в 1831 г. Талант специалиста по античной истории и литературе был сразу замечен. Статьи и переводы молодого автора стали печатать в лучших столичных журналах. В те годы Министерством народного

¹⁰ Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 143.

просвещения проводилась в жизнь продуманная до деталей особая программа подготовки будущих университетских профессоров. Министр С.С. Уваров и попечитель гр. С.Г. Строганов «поштучно» отбирали среди университетских выпускников самых одарённых, подробно обсуждали каждую кандидатуру. Нельзя было ошибиться – на подготовку каждого будущего профессора тратилось много сил, времени, казённых денег. В реформе образования именно университетам отводилось важнейшее место: здесь готовили для страны будущих учителей, государственных деятелей. До наших дней дошла обширнейшая переписка Уварова и Строганова, по ней мы видим, какое первостепенное значение они придавали подготовке будущей русской профессуры. Отобранные кандидаты посылались на 2–3 года в знаменитые зарубежные университеты, затем им предстояло занять кафедры в российских университетах. А лучшие из лучших предназначались для Московского университета, эталона всей университетской системы. Будущие профессорские кадры пестовали, как редкие оранжерейные растения, – от них ждали ежеквартальных отчётов из-за рубежа, тут же публиковали выписки из них в «Журнале Министерства народного просвещения» для общего сведения, следили, чтобы вовремя были подготовлены диссертации, регулярно писались научные статьи. Одним словом, на этих молодых людей возлагались огромные надежды. Среди них был и Печерин.

Профессор русской истории М.П. Погодин с восторгом писал, что приход на кафедры Московского университета «молодых профессоров, приготавливавшихся к профессорству в Германии, составляет важную эпоху в летописях Московского университета... Завершившие своё образование в Берлинском университете под руководством первых знаменитостей века, напитанные учением основательным, глубоким и современным, знакомые с духом новейшей философии, они внесут в университет совершенно новый элемент»¹¹. В судьбе молодых людей заграничные стажировки играли выдающуюся роль. По словам М.О. Гершензона, «мы, люди двадцатого века, даже отдалённо не можем представить себе чувства, с каким юноши 30-х годов переступали порог Берлинского университета, – той пожирающей жажды философского синтеза, который должен осмыслить жизнь, и той непоколебимой веры, что этот синтез *может* быть найден и *уже* фактически найден, стоит только перейти к источнику и напитокся»¹². В числе того поколения молодых профессоров – ректор Петербургского университета, председатель и один из основателей первого русского Педагогического общества, член Государственного совета П.Г. Редкин, блестящий лектор-античник Д.Л. Крюков, глава Хирургической клиники Московского университета, впервые в России применивший эфирный наркоз, основатель и редактор «Московской медицинской газеты» Ф.И. Иноземцев, великий русский врач Н.И. Пирогов и многие другие – юристы, экономисты, историки, биологи, физики... Таким образом, неустанные труды Уварова и Строганова увенчались успехом. Выбранные ими кандидатуры оказались удачными – кроме одной.

Владимир Сергеевич Печерин был отправлен в Берлин для завершения образования и подготовки к профессорской кафедре в 1833 г. Вернувшись, он, как и остальные его товарищи, сразу приступил к чтению лекций. Перед одарённым юношей открывались все двери. Хотя 28-летний Печерин ещё не защитил не только докторской, но даже и магистерской диссертации и по букве Устава 1835 г. не мог претендовать даже на звание адъюнкта, после чтения

¹¹ Московский наблюдатель. 1838. № 5. С. 250.

¹² Гершензон М.О. Жизнь В.С. Печерина. М., 1910. С. 45.

пробной лекции в Московском университете его назначили «исправляющим должность экстраординарного профессора греческой словесности». Казалось бы, возложенные на него ожидания оправдывались. Ф.И. Буслаев, вспоминая свои студенческие годы, так характеризовал Печерина: «Очень красив собой, во всем изящен и симпатичен, и в приветливом взгляде, и в мягком задушевном голосе, когда, объясняя нам Гомера и Софокла, он мастерски переводил их стихи прекрасным литературным слогом». Печерин «до такой степени умел возбудить в студентах жар, что все принялись за греческий язык», преподавание которого в то время находилось на крайне низком уровне, и в кратчайший срок его слушатели «сумели достичь поразительных успехов»¹³.

Однако Печерин преподавал всего лишь один семестр, с января по июнь 1836 г. Уже летом он уехал за границу, навсегда покинув Россию. Причины отъезда он объяснял так: его ужасало ожидавшее его простое, предсказуемое, скучное будущее: «Усесться на профессорской кафедре, завестись хозяйством, жениться, быть коллежским советником и носить Анну на шее». Печерин уверял, что «профессорство в России невозможно». Впрочем, размышлял он далее, при определённых условиях он мог бы попытаться занимать кафедру: «Может быть, в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь, но разгульная Москва, с её вечными обедами, пирушками, вечеринками и болтовнёю вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвратился из-за границы» (с. 188). Печерину не нравилось и то, что он «сделался любимцем Уварова», его пугало, что «раболепная русская натура брала своё. Я стоял на краю зияющей пропасти» (с. 160). Остаться в «фокусе деспотизма» – России, которая была главным тормозом на пути всеобщего прогресса, для молодого учёного было нестерпимо.

Подобные настроения зародились у Печерина давно, ещё до поездки за границу. В Берлине он написал знаменитые строки:

«Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья» (с. 111).

Что-то проглядели в своём избраннике мудрые Уваров со Строгановым... Иллюзии относительно Печерина сохранялись у них ещё некоторое время. Жаль было и затраченных усилий. Строганов ходатайствовал за молодого человека перед Уваровым, надеясь на лучшее: «Никто больше Вас не может оценить его талант, и мне представляется крайне затруднительным его заменить». Писал он и самому Печерину, умоляя поскорее вернуться в Россию. И получил ответ, что тот не желает возвращаться, чтобы превратиться со временем в «благонамеренного старого профессора» из числа «живущих лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться как животные»¹⁴.

А.В. Никитенко записал в своём дневнике 30 сентября 1837 г.: «Был у министра. Он много говорил о Печерине, поступком которого очень огорчен, так как это, действительно, ставит его в затруднительное положение. Как сказать об этом Государю? Кара сначала может пасть на министра, потом на всё учёное сословие и, наконец, на систему отправления молодых людей за границу».

¹³ См. подробнее: *Петров Ф.А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 4. Ч. 1. М., 2003. С. 151–153, 446, 447.

¹⁴ См.: *Петров Ф.А.* Указ. соч. С. 152.

И действительно, бегство Печерина поставило под удар всю программу зарубежных стажировок. Как писал М.О. Гершензон, «этот поступок мог тяжёло отозваться на положении всего высшего образования в России, и во всяком случае – на системе отправления молодых людей для усовершенствования за границу»¹⁵. К счастью, этого не случилось. Заграничные командировки оставались важнейшим инструментом подготовки будущих преподавателей вплоть до «мрачного семилетия» (1848–1855).

В 1848 г. Печерин был лишён российского подданства. За свою жизнь он, по собственным воспоминаниям, побывал республиканцем, коммунистом, сен-симонистом, миссионером-проповедником, затем стал католическим священником. Разочаровавшись в религии, бывший *pater Petcherine* начал исповедовать «веру в науку, литературу и в промышленность».

Очень рано русские эмигранты во главе с А.И. Герценом начали творить легенду, представляя Печерина как «жертву николаевского режима», героического бунтаря, стремившегося переделать мир, глубокого мыслителя. В следующую историческую эпоху эту трактовку личности Печерина всей силой своего авторитета поддержал Гершензон. Совершенно иной взгляд на жизнь Печерина имел его бывший покровитель – гр. Строганов. Он горячо одобрил идею П.И. Бартенева опубликовать «Замогильные записки» Печерина в журнале «Русский архив» в качестве назидания для молодого поколения, как «опасно подчинять свои действия призывам эгоизма, своеволия и крайних мнений». Но назидания не получилось: и последующие поколения, как правило, смотрели на Печерина глазами Герцена и видели в нём революционера, философа, страдальца.

Переосмысливая привычный стереотип, С.Л. Чернов приходит к выводу, что «в действительности, как свидетельствуют его же (Печерина) письма, он не был ни тем, ни другим, ни третьим, т.е. *никем*» (с. 31). Замкнутый на себе эгоцентрист, Печерин умудрился не заметить важнейших событий эпохи, а его суждения о русской литературе, о современниках часто отличались наивностью и инфантилизмом. Как заключает исследователь, жизнь Печерина «представляет собой череду духовных кризисов», каждый из которых тотально отрицал опыт предыдущего, что делало невозможным извлечь уроки из своих неудач, выстроить позитивную жизненную программу (с. 11–12). Похожую оценку мы встречаем у Никитенко: узнав о пострижении Печерина в монахи, он заключил, что «поступок Печерина не есть следствие смелой обдуманной решимости и твёрдого убеждения, а плод незрелой мысли». Профессор оказался прав: монашество, как и всё остальное, наскучило Печерину. Давая убедительную характеристику личности Печерина, Чернов говорит об отличавшем его страхе перед жизнью.

Как же получилось, что Владимир Сергеевич Печерин остался в нашей истории? На протяжении долгих лет он состоял в переписке с адресатами в России и за рубежом, в том числе с университетскими знакомцами, сохранявшими прежние товарищеские чувства. Печерин, обладавший незаурядным даром слова, постоянно держал их в курсе всех событий своей жизни. Как замечает, Чернов, «феномен Печерина не существует вне его переписки».

Почему мы обращаемся сегодня к истории Печерина, почему его личность и судьба должны быть интересны нашим современникам? Полагаем, что совершенно прав был лучший попечитель Московского университета гр. С.Г. Стро-

¹⁵ Гершензон М.О. Указ. соч. С. 125–126.

ганов, считавший, что публикация записок Печерина должна послужить назиданием молодым людям, стоящим в начале своего жизненного пути. Кроме того, читатель найдёт в этом издании пищу для размышлений на вечную тему спора западников и славянофилов, о путях развития нашей высшей школы, о православии и русском католицизме.

Екатерина Цимбаева: Обыкновенная история католика-анархиста

Владимир Сергеевич Печерин принадлежит, пожалуй, к наиболее известным представителям русского католицизма. По степени изученности в отечественной и зарубежной историографии он уступает место только своему собрату по вере кн. И.С. Гагарину. Тем не менее, число опубликованных источников, вышедших из-под пера самого Печерина, сравнительно невелико и фрагментарно, за исключением его знаменитых мемуаров «*Apologia pro vita mea*». Однако его записки недаром получили такое название – их задача именно в оправдании жизненного выбора, в том числе и критикой предшествующих идейных метаний. Счастлив человек, который, оглядываясь на пройденный путь, готов выразить уверенность в его правильности, но истинна ли эта уверенность или продиктована желанием оправдаться перед самим собой, друзьями и читателями? Ответ на этот вопрос в значительной степени даёт обширная публикация переписки В.С. Печерина с родителями и близкими, осуществлённая С.Л. Черновым. По сути её можно расценить как «полный вариант» мемуаров Печерина (что и отражено в названии книги), поскольку «*Apologia pro vita mea*» составлена им на основе его автобиографических писем, изначально рассчитанных на возможную публикацию и прилагавшихся к собственно личной переписке с конкретным корреспондентом. Теперь вся его переписка с российскими адресатами оказалась представлена полными текстами и без изъятий.

С.Л. Чернов проделал огромную работу. Весь собранный в издании эпистолярный комплекс обнаружен в различных российских архивах и обработан самим исследователем. Всего опубликовано 265 писем, из которых больше половины принадлежит самому Печерину, а остальные – его корреспондентам из России. Мне приходилось работать с письмами Печерина, адресованными кн. Гагарину и И.М. Мартынову и хранящимися в Архиве Славянской библиотеки Парижа. Не берусь говорить о почерках его корреспондентов А.В. Никитенко, С.Ф. Пояркова и Ф.В. Чижова, но могу заметить, что его собственный почерк, сравнительно легко читаемый, тем не менее, нередко ставит трудноразрешимые проблемы прочтения отдельных слов (на любых языках). То обстоятельство, что в тексте публикации Чернова пометки [нрзб] встречаются весьма редко, следует приписать долготерпению и упорству учёного, добившегося понимания наиболее трудных фрагментов. Этот же факт объясняет чрезвычайно продолжительный период подготовки публикации, в которой часть переводов с латинского языка сделана ещё нашим знаменитым филологом-классиком А.Ч. Козаржевским. Наконец, невозможно не отметить исключительно подробные комментарии, занимающие больше половины объёма книги и фактически представляющие собой энциклопедический обзор печеринской эпохи во всех её проявлениях. И приветствуя в настоящее время выход переписки Печерина, привлекая внимание специалистов, нельзя не вспомнить с горечью, как долго ей пришлось пробивать путь в свет сквозь препоны современной книгоиздательской политики! Стоит задуматься, сколько интересных проектов погибает

ещё до своего рождения, остановленные мыслью о стоящих перед исследователем трудностях далеко не научного характера.

К сожалению, проделав столь гигантский труд, Чернов полностью разочаровался в избранном им историческом персонаже. Вступительная статья содержит суровое резюме его работы над изучением печеринского наследия: «Пришло понимание того, что он не героико-романтический, а трагический персонаж русской истории, несостоявшийся, потерявшийся и потому мятущийся человек, так и не сумевший найти себя, своё призвание, свою дорогу в жизни, свой дом, счастье, фортуна» (с. 30). Ниже автор жирно выделяет, что Печерин был «**ником**» (с. 31). Правда, он тут же заявляет о нереализованном потенциале Печерина, который «мог бы стать крупным лингвистом..., стать публичным и любимым студентами лектором» (с. 31–32). Наконец, Чернов характеризует его как классический тип «лишнего человека, но не литературного героя, а исторической личности» (с. 31), и подчёркивает, что ему нельзя приписать достижений ни в каких сферах общественной, политической, научной, философской, культурной деятельности, нельзя даже назвать его «*типичным представителем русского католицизма*» (с. 32, курсив С.Л. Чернова). Столь жёсткий отзыв нуждается, как мне кажется, всё же в некотором комментарии.

Если в первый период массовых обращений русских дворян в католичество, пришедшийся на 1810-е гг. и охвативший преимущественно светских дам, можно выявить типовые черты, то применительно ко второму периоду, 1840-м гг., сделать это нелегко – столь различными путями шли к католицизму разнообразные его русские адепты. Наиболее частыми были всё же обращения мужчин в возрасте около 30 лет, получивших блестящее, обычно университетское, образование (И.С. Гагарин, И.М. Мартынов, С.С. Джунковский, М.Д. Жеребцов, Ю.К. Астромов, Е.П. Балабин). К их числу принадлежал и Печерин. Все они обратились практически одновременно, в 1843–1847 гг. (в этом отношении Печерин их немного опередил). Все они вступили в различные католические монастыри и удовлетворялись пребыванием в них до 1855–1856 гг. Затем под влиянием событий в России, где, на взгляд из-за границы, начиналась совершенно новая жизнь, наступил общий же идейный кризис. Джунковский и Жеребцов в итоге приняли православие, вернулись в Россию, женились; Астромов покинул монастырь и, не порвав с католицизмом, окончил дни священником в Риме. Гагарин и Балабин, формально сохраняя иезуитский сан (допускающий вполне светский образ жизни), оставили монастырь и даже Францию, занявшись просветительской (не религиозно-просветительской!) деятельностью на Ближнем Востоке. Позднее Гагарин, вынужденный вернуться во Францию по состоянию здоровья, целиком посвятил себя научной и издательской работе, Балабин же так и остался в Сирии и Палестине. По сути, не покинул монастырь один Мартынов, человек невысокого происхождения, лишённый инициативности и крайне необщительный, что, видимо, являлось у него наследственным свойством: достаточно сказать, что его переписка с оставшимися на родине братьями и сёстрами очень редка, но эти последние получали сведения друг о друге вообще только через него! Любопытно, что именно к нему Печерин обратился с неожиданной просьбой: «Не можете ли Вы мне указать какого-нибудь средства возобновить прерванные сношения с моими родителями?»¹⁶. Таким образом жизненный путь Печерина со всеми его метаниями как раз довольно типичен для русских католиков его поколения.

¹⁶ Архив Славянской библиотеки Парижа. Серия Русская литература. Письмо И.М. Мартынова от 12 июня 1855 г.

Естественно, что на этом пути он, как пишет Чернов, не сумел найти «свой дом, счастье, фортуна»: всё это по определению недоступно монаху или католическому священнику, даже если под «домом» в данном случае подразумевается родина. Католические миссионеры отправлялись проповедовать слово Божие или принимали сан в другой стране и навсегда порывали с родиной, почитая это естественным следствием приоритета веры над любыми иными ценностями. Если же Чернов понимал под «домом» именно семью, детей и пр., то, признавая вслед за ним безусловную ценность этих основ человеческого бытия, характеризовать на этом основании монашество как заведомо бесплодную деятельность, не приносящую личного счастья, – вывод всё-таки излишне резкий. Кроме того, семейный очаг, обретённый на родине, далеко не всегда сулил счастье. Примером может послужить судьба Джунковского, который женился, родил дочь, но вскоре после возвращения с семьёй в Россию умер, подавленный жалким существованием из милости у презиравшего его прежнего приятеля, С.О. Бурачка.

Вызывает также сомнения, что из-за разрыва с родиной в Печерине умер столп науки и талантливый педагог. Католическое монашество никогда не препятствовало самой серьёзной научной деятельности, чему можно привести множество примеров, от выдающихся мавристов XVII в. и до самих русских католиков в лице того же Гагарина или, тем более, его младшего сподвижника знаменитого русского историка П.О. Пирлинга. Тот факт, что Печерин не преуспел в своих изысканиях, свидетельствует о недостатке скорее способностей или настойчивости (о чём и упоминает Чернов), нежели возможностей в новых условиях существования. Трудно предположить, что упорство в достижении цели пропало у Печерина именно в результате эмиграции. Что же касается таланта преподавателя, нет надобности пояснять, что он предполагает веру в самостоятельную ценность просветительской миссии, неколебимую даже при самой малой отдаче от студентов, требует, кроме того, умения целиком отдаваться работе, вкладывать свои познания в других... Были ли эти качества у Печерина? Ведь возможности просветительской деятельности любого священника в Великобритании поистине безграничны, государство и общины им не только не препятствуют, но всецело их поощряют. Однако Чернов сам пишет, что служение о. Печерина было далеко от подвижничества, цинично по внутреннему наполнению, ограничено стремлением оправдать своё содержание в глазах паствы – и не более. Весьма возможно, что не больше рвения он обнаружил бы и на посту адъюнкт-профессора Московского университета – ведь просветительский дар, если он есть, проявится в любой сфере.

Правда, отсутствие у Печерина подлинной готовности служить на избранном поприще – вопрос небесспорный. Он славился в своём ордене как замечательный оратор. По внутреннему побуждению или по принципу «положение обязывает», но в большинстве писем он упоминает свои пастырские обязанности, обычно в самом положительном звучании. При этом иногда доходит до смешного. Так, он пишет из Клапама: «По соседству с нами появилась холера. Это – особая милость Бога. Мы надеемся собрать колосья новых обращений»¹⁷. Возможная опасность для него самого его не беспокоит, как и следует ожидать от ревностного служителя Церкви.

Но даже приняв, что свои обязанности – особенно в последние годы, состоя капелланом в дублинской больнице – он исполнял всего лишь ради верного

¹⁷ Там же. Письмо И.С. Гагарину от 24 января 1849 г.

источника дохода, действительно ли можно утверждать, что Печерин жил и умер «*ником*», впрямь ли он – не более чем миф, созданный его апологетами из числа деятелей русской революционной и либеральной мысли от Герцена до Гершензона? Оставим в стороне те факты, что капеллан в ирландском госпитале бесспорно нужен и полезен, и что «*филантропическая деятельность*», которой, по словам Чернова, Печерин не занимался, едва ли входит в прямые обязанности капеллана. Естественно, кандидаты на данный пост нашлись бы и в среде ирландцев, не обязательно было отдавать его русскому католику. Речь о другом. Скрывались ли за жизненными метаниями Печерина внутренняя пустота, неумение «выработать в себе мировоззрение, стать свободной, самостоятельной и независимой личностью» (с. 17)? Можно ли признать, что он разочаровался даже в католицизме и вообще не был религиозен (с. 14)? И что, наконец, единственная ценность его биографии (и переписки как её иллюстрации) – в её «*ординарности, обыденности, типичности*» (с. 31, выделено С.Л. Черновым)? На все эти вопросы осмелюсь ответить отрицательно.

Конечно, нельзя не признать, что Печерину было свойственно стремление к идеализации будущего, а поскольку действительность оказывалась неизбежно хуже идеала, он немедленно разочаровывался в самих перспективах любой деятельности. Это ярко проявилось и в его любовном романе 1835 г., хотя ему было тогда уже не 16, а 26 лет, и в попытках ввязаться в революционную борьбу в Европе в период, когда надежд на близкие революции не имелось. Можно было бы сказать о неизжитом подростковом мироощущении, но, не будучи специалистом в области психологии, не стану в неё вдаваться. Из этого же мироощущения, как его ни называть, вытекал печеринский негативизм по отношению к пройденным этапам жизни, готовность выглядеть хуже в глазах близких, нежелание подчиняться никому и ничему, протест ради протеста, непонимание самого себя, неумение объяснить свои поступки как в момент совершения, так и спустя долгие годы. Он сам справедливо рассуждал в письме гр. С.Г. Строганову по поводу своего отъезда: «Юношеское ли это тщеславие? Или безмерное честолюбие? Или безумие? – Не знаю. Мой час ещё не настал... Слава! Волшебное слово!.. О Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единственного дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!». Конечно, это слова юнца или экзальтированного мечтателя. Но за словами следовали и действия, а найти в них рационального зерна он никогда не мог, чем и разочаровал практичного Чижова, пытавшегося дознаться причин перехода друга в католичество. Проблема заключалась просто в том, что Печерин понимал причинность совершенно иначе, не объективно и логично, а резко субъективно, можно даже сказать, экзистенциально. Из-за такого взгляда на мир никогда не пришло к нему умение считаться с чувствами окружающих – едва ли он когда-нибудь осознал, какой удар нанесло бегство единственного сына его родителям, или как смотрели на его переходы из монастыря в монастырь его братья-монахи. Однако каков бы ни был склад личности Печерина, общее направление его жизни оставалось достаточно чётким до самого конца.

Во-первых, его приверженность католицизму осталась неизменной. Он не был религиозным фанатиком и об этом-то с удовлетворением и писал Чижову, что явствует из контекста письма, цитату из которого приводит Чернов на с. 14 в доказательство едва ли не атеизма своего героя. Вместе с тем, резко критикуя в поздних письмах папу, различных церковников и саму Католическую церковь, он не подвергает критике или сомнениям католическую *веру*. На-

против, по своему душевному и психологическому типу он как нельзя лучше соответствовал образу экзальтированного священника, монаха, проповедника, и его выбор стези, в конечном счёте, оказался применительно к данной эпохе верным. И если неподдельная горечь сквозит в его издевательских размышлениях о будущем христианства (как в письме Чижевскому от 24 июня 1876 г.) или в нередких злых комментариях к действиям папы, диктует их скорее всё та же разочарованность в идеале, до которого не дотягивала в ту пору реальная практика католицизма. Но альтернативы для себя Печерин не видел. Его письма российским корреспондентам – действительно подчеркнута светские не только по содержанию, но и по форме. Однако религиозность всех русских католиков неизбежно оставалась светской, дворянской, недаром большинство выбирали иезуитский орден, не налажавший внешних атрибутов монашества (Печерин с его стремлением к суровому монастырскому быту долго был исключением). В то же время письма Печерина братьям-католикам по форме вполне подобают монаху или священнику, оставаясь по содержанию вполне светскими. Точно такие же различия прослеживаются и в переписке, например, Гагарина, чья преданность католицизму не подлежит сомнению, но который не считал уместным посылать благословение издателю русской газеты или даже даме-католичке.

Лишь в одном отношении Печерин действительно резко отличался от прочих русских католиков. С 1830–1840-х гг. русский католицизм был своеобразной формой российского либерализма, не находившего никакого выхода в своей стране до эпохи реформ. Именно поэтому начало преобразований в России вызвало такой всплеск активности и вместе с тем идейный кризис у многих русских католиков. Печерин также пережил период упований на нового императора, ему грезилось новое великое будущее родины (об этом, в частности, свидетельствуют его письма Гагарину, частично опубликованные Пирлингом в «Русской старине» 1911 г., ссылка на которые приведена в библиографии издания С.Л. Чернова). Но в некоторых отношениях Печерин шёл дальше многих либералов, недаром он прошёл через увлечение социалистическими и анархическими идеями (последние он сам и С.Л. Чернов вслед за ним именуют «коммунистическими», но то не был марксизм). Преобразования в России 1860-х гг. отнюдь не являлись революционными по способу проведения. И, видимо, это не удовлетворяло Печерина, при всём его несомненном желании вновь увидеть родину. В письмах 1848–1850 гг. он комментирует революционные бури в Европе без всякой жалости к рушащемуся миру: «Да, оно умирает, это старое общество аристократии, буржуазии и купечества. Волна обнищания растёт, растёт и растёт... Вот Вам моё искреннее мнение – время книг и бесед прошло, приближается время меча. Существуют преграды, которые один только меч может преодолеть. Остаётся узнать, что будет после этого»¹⁸. В ту пору его упования на перемены в Европе связывались с вмешательством России, а упования на перемены в самой России – с введением католицизма. Но во всем этом виделась не позитивная программа, а чисто негативная, в духе анархического порыва к разрушению ради разрушения: недаром он называл будущего Александра II «новым Атиллою» с Востока (из письма И.С. Гагарину от 21 марта 1850 г.; данный фрагмент есть в публикации Пирлинга). Позднее, в иную эпоху, когда Александр явно вышел из роли «Атиллы», Печерин с живым интересом и

¹⁸ Там же. Письмо И.С. Гагарину от 16 июня 1850 г. (Частично опубликовано П.О. Пирлингом).

явным одобрением писал в опубликованных С.Л. Черновым письмах к Чижову о русских нигилистах и народниках, выражая огорчение из-за невозможности познакомиться с кем-нибудь из них лично. Давнее противопоставление католицизма и революционности как взаимоисключающих сил в биографии Печерина оказалось парадоксально преодоленным. Последовательный католик, он вместе с тем оставался последовательным – не революционером, а анархистом. С увлечения анархизмом он начал своё приближение к Европе и этому увлечению не изменил.

Изначально он не был «лишним человеком» на родине, где избранная им классическая филология, конечно, не подвергалась гонениям. Однако она не удовлетворяла не только его стремлению к мигу славы, но и его желанию прежде всего разрушать, а не созидать. Он бежал из России, бросив крайний вызов николаевскому режиму и мечтая о «социалистическом» хаосе. Он выбрал католицизм как форму бегства из мира, не оправдавшего его надежд на потрясение основ цивилизации. Не желая бороться против религии, вполне отвечавшей его чувствам, он в дальнейшем перенаправил анархический протест на собственную жизнь, шаг за шагом её ломая и черпая утешение в надеждах на будущих ниспровергателей с Востока, всё равно – буддистов или нигилистов. Его беда была в том, что он родился не в то время. Живи он позднее, его легко можно было бы представить деятельным членом партии эсеров (не либералом!), причём привлекла бы его не конечная программная цель, а средства её достижения (хотя едва ли всё же он стал бы убеждённым террористом). Эсерам он остался бы предан до конца, вполне удовлетворяя свою потребность в разрушении без мысли о созидании нового. Правда, в этом случае он закончил бы дни точно так же: одиноким эмигрантом, без родины, без надежд. И даже без уважения, которое всё-таки окружало его на поприще католического священника. Его история – обыкновенная история, но история анархиста, по определению не способного достичь желаемого, ибо у разрушения конца быть не может. Пожалуй, Печерину всё же посчастливилось, что он жил во время, которое умело успешно ставить преграды бессмысленному духу уничтожения, и он смог принести хоть небольшую, но реальную пользу человечеству.

Материал подготовлен И.А. Христофоровым